18+

Михаил
Шишкин
**Пальто
с хлястиком**

ШЕ
РЕДАКЦИЯ
ЕЛЕНА ШУБИНОЙ

Михаил Шишкин

**Пальто с хлястиком.
Короткая проза, эссе**

«АСТ»

2017

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Шишкин М. П.

Пальто с хлястиком. Короткая проза, эссе /
М. П. Шишкин — «АСТ», 2017

ISBN 978-5-17-096260-0

Прозаик Михаил Шишкин родился в Москве в 1961 году, живет в Швейцарии. Автор романов «Записки Ларионова», «Взятие Измаила», «Венерин волос», «Письмовник» и литературно-исторического путеводителя «Русская Швейцария». Лауреат премий «Национальный бестселлер», «Русский Букер», «Большая книга». В новой книге короткой прозы автор пишет о детстве и юности, прозе Владимира Набокова и Роберта Вальзера, советских солдатах и эсерке Лидии Кочетковой... Но главным героем – и в малой прозе это особенно видно – всегда остается Слово. Содержит нецензурную брань

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-096260-0

© Шишкин М. П., 2017
© АСТ, 2017

Содержание

Пальто с хлястиком	6
Вильгельм Телль как зеркало русских революций	14
Кампанिला Святого Марка	19
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Михаил Шишкин

Пальто с хлястиком: короткая проза, эссе

Фото автора на задней стороне переплета Евгении Фролковой

В книге использованы фотографии из личного архива автора и из Центра Роберта Вальзера в Берне, работы Юрия Транквилицкого, Александра Стернина и приобретенные при содействии фотоагентств “Восток Медиа” и “Getty Images Russia”

Пальто с хлястиком

Есть известная полицейская фотография Роберта Вальзера, сделанная на месте его смерти: зима, белый косогор, следы в глубоком снегу, человек, упавший навзничь, разбросав руки. Стариковская шляпа отскочила в сторону. Таким его нашли дети на рождественской прогулке.

Он описал собственную смерть в рассказе, опубликованном за полвека до своего последнего Рождества. Герой коротенькой истории – неприметный, неприкаянный, никому не нужный, к пущему несчастью в придачу еще и гений, властелин мира. Он устает быть ненужным и уходит от забот так: заваливает мир снегопадом и ложится в сугроб.

Знание собственной смерти все же не привилегия писателя. Просто его легко поймать за руку – в прямом смысле слова – рука записывает то, что ему в какой-то миг открывается. В жизни каждого человека есть такие прорывы. Дырки в материи. Пункты передачи. В такие моменты композитор получает мелодию, поэт – строчки, любящий – любовь, пророк – Бога.

В этот миг встречается то, что в обыденном не пересекается, живет порознь, видимое и невидимое, суетное и сокровенное.

Начинаешь дышать в такт с пространством, в котором все происходит одновременно – и бывшее, и еще не наступившее.

Сущее играло с тобой в прятки, пряталось за прошлым и будущим, как ребенок, который в прихожей втиснулся под шубы на вешалке, а теперь выскочил, потный, счастливый, заливаясь смехом, мол, вот он я! Как же ты так – ходил мимо и не видел! Теперь тебе водить!

В такую минуту увидеть собственную смерть – пустяк, потому что предстает в своей восхитительной очевидности знание, что я никогда не рождался, а был всегда. Вдруг приходит понимание: не нужно цепляться за жизнь, потому что я и есть жизнь. И это не я чувствую, что у леса прелый запах изо рта, а это вселенная принохивается к себе моими ноздрями.

Наверно, если чем-то можно измерить прожитую жизнь – то количеством этих отпущенных тебе встреч.

Очень хорошо помню, как я испытал это в первый раз. Мне одиннадцать. Запах горящих под Москвой торфяников. Мглистые дачные утра 72-го. Привкус гари у всего, даже у горячей клубники с грядки. Мама едет в отпуск в дом отдыха на Верхней Волге и берет меня с собой. Одно из моих первых путешествий.

Шли дожди, мы жили в отсыревшем комарином домике, и сначала было скучно, несмотря на то, что каждый вечер крутили кино, но потом погода наладилась, в столовой у нас за столом появился новый сосед, дядя Витя, и жизнь наша преобразилась. Мы с ним купались, катались по Волге на моторке, ходили в лес. Дядя Витя был жилист, златозуб, без конца смешил маму своими историями. Из его шуток я половину не понимал, но рассказывал он так, что не смеяться было невозможно. Мамин новый знакомый мне очень нравился. Еще меня сразило, что он работал в тонвагене. Наверно, уже тогда меня завораживали слова.

Ну вот, без спроса называю того подростка мной, хотя совсем не уверен, что он согласился бы признать себя во мне нынешнем, седом, прожившем жизнь болезненным зануде с выпершим бесстыжим брюхом. Он очень удивился бы: какой же это я? Не знаю, нашелся бы я, что ему ответить. Вряд ли. Меня зовут как его – ну и что?

Из историй дяди Вити почему-то запомнилось, как в детстве, катаясь на коньках по реке, он с мальчишками иногда находил вмерзших в лед лягушек. Если на них пописать, они оживали и начинали шевелиться. А еще про войну. Он рассказывал про штрафников, которых могло спасти только ранение. Смысл свою вину кровью – возвращают награды и звание. И вот они устраивали самострелы – в руку или ногу через буханку хлеба, чтобы не оставался пороховой нагар.

Мне в голову не приходило, что мама любила танцевать, а теперь она каждый вечер ходила с дядей Витей на танцы.

Однажды мама заговорила со мной каким-то непривычным голосом. Она попросила, если дядя Витя спросит меня о папе, ответить, что он умер.

Я удивился:

– Но ведь он не умер. Он просто переехал.

Она прижала мою голову к груди:

– Но ты же у меня умница и все понимаешь.

Я ничего не понимал, но кивнул.

И стал ждать, когда дядя Витя спросит меня о папе.

Странно было смотреть, как мама румянилась, пудрилась, подводила глаза, красила губы, прыскала себе на шею духами, делала маникюр – в нос бил острый запах лака. Я такой ее не знал раньше.

Мама была учительницей, преподавала русский и литературу, к тому времени она стала уже директором нашей 59-й на Арбате. Я ездил вместе с ней с первого класса через весь город – сперва с Пресни, где мы жили в коммуналке, потом из Матвеевской, где получили двухкомнатную в новостройке.

Понятно, она хотела, чтобы ребенок был под боком, в ее школе, но мне это сильно осложняло жизнь. Ее идеалом был какой-то учитель, преподававший математику и уже ушедший на пенсию. У того в классе учился сын, знавший этот предмет лучше всех, но когда отец вызывал его к доске, то даже на правильное решение задачи всегда говорил: “Садись, три”. Что-то подобное мне, например, пришлось испытать, когда наш класс делили, кому изучать английский, а кому немецкий. Я хотел пойти в английскую группу – и имел на это все основания, потому что немецким как бы наказывали тех, кто плохо учится: мол, будешь плохо учиться, пойдешь в немецкую группу. Я учился хорошо, но мама записала меня именно туда, куда я не хотел. Чтобы никто из родителей ее не смог ни в чем упрекнуть. На первом месте у нее была школа, а все личное, семейное – на втором.

Ее поколение выросло под плакатом “Родина-мать зовет!”

Может, она и в Афганистан меня отправила бы не только с болью, но и чувством исполненного долга матери перед отечеством, если бы я не поступил после школы в институт с военной кафедрой. Не знаю. Кстати, очевидно, я до сих пор офицер запаса той несуществующей армии несуществующей страны. Принес ведь когда-то в военных лагерях под Ковровом клятву защищать до последней капли крови разбежавшуюся вскоре отчизну. Помню, нужно было поцеловать красное знамя, поднес к губам, а оно на меня пахло копченой рыбой. Наверно, наши начальники пили пиво с рыбкой и вытирали о бархатное полотно руки.

Тогда, в школе, я, конечно, не осознавал, как тяжело было маме и всем нашим учителям: перед ними стояла задача без решения – учить говорить детей правду, вводя их в мир лжи. По писаному закону нужно говорить правду, а по неписаному: скажешь правду, потом не расхлебашь.

Они нас учили лжи, в которую сами не верили, потому что любили и хотели спасти. Конечно, они боялись неправильно сказанных слов, но еще больше, чем за себя, они боялись за нас. Ведь в стране шла смертельная игра в слова. Нужно говорить правильные и не говорить неправильные. Границу никто не проводил, но каждый в себе этот рубеж чувствовал. Учителя пытались спасти правдолюбивых юношей от глупости, сделать им живительную прививку страха. Пусть сейчас будет немножко больно, но зато потом иммунитет на всю жизнь.

Может, нас плохо учили химии или языкам, но зато мы получали показательные уроки в искусстве выживания – говорить одно, а думать и делать другое.

Боги взрослых давно умерли, но на школьных камланиях нужно было поклоняться им. Школа учила детей рабов смирению. Если хочешь чего-то добиться, нужно научиться произносить мертвые слова на мертвом языке, в котором застаивалась и гнила та мертвая жизнь.

Вообще, что значит быть хорошим учителем?

Очевидно, что хороший учитель при любом режиме должен развивать в детях качества, которые помогут им дальше в жизни, и не будет учить детей идти против течения, потому что им пригодятся совсем другие знания: знания дорожного движения по этой конкретной жизни. Выехал на встречную полосу – попадешь в аварию. Надо развернуться и влиться в общий поток. Хочешь чего-то достичь в этой жизни, зарабатывать прилично, обеспечивать семью, детей – надо влиться в общий поток: ты начальник – я дурак, я начальник – ты дурак, трудом праведным не построишь палат каменных, с волками жить – по-волчьи выть.

А плохой учитель будет учить жить по другому закону, закону сохранения человеческого достоинства. И это чаще всего путь в лучшем случае в маргиналы, в худшем – к тюрьме или самоубийству. А то и просто пристрелят.

Значит, плохие учителя были хорошими, а хорошие – плохими? Впрочем, в России всегда так: правые – слева, левые – справа. Сколько веков выясняли, так и не выяснили: если любишь Родину, то нужно желать ей победы или поражения? Осталось до конца непроясненным, где кончается Отчизна, и где начинается режим, – так все срослось.

Взять хотя бы тот же хоккей. По обе стороны колючей проволоки матчи СССР – Канада воспринимались как символическая битва двух систем. К концу советской власти мы болели за канадцев против советов. А в 72-м, когда состоялась эпохальная суперсерия, тот подросток, которого я упорно называю мной, еще жил в светлом мире до грехопадения и болел “за наших”.

Это была все-таки странная держава. Хоккейные победы продлевали жизнь режиму, а поражения сокращали. Вблизи было не рассмотреть, что тот самый гол Пола Хендерсона, забитый с пятачка за 34 секунды до конца последнего матча, перевернул не только исход той серии, но стал *point of no return* для всей мировой империи, созданной усатым богдыханом. Ее разложение оставалось с той минуты только делом времени.

Забавно, что человек, поразивший мою страну в самое сердце, принял свою судьбу как-то совсем по-русски: сперва запил, бросив хоккей, а потом стал проповедником.

Хоккей попал на эти страницы, потому что наша школа находилась как раз напротив Канадского посольства. Перед ним парковались нездешние, невероятные лимузины, завернувшие в наш Староконюшенный переулок прямо из американских фильмов. Можно было прильнуть к стеклу и разглядывать доску приборов, особенно впечатляла цифра 220 на спидометре, и мы, мальчики в мышинных серых костюмчиках, с жаром спорили о преимуществах “мустанга” перед “кадиллаком” или “шевроле” перед “фордом”, пока из будки у дверей посольства не выскакивал милиционер, чтобы шугануть нас.

Для канадских хоккеистов в посольстве был устроен прием. Весть о том, что к нам приехали канадцы, разлетелась мгновенно, и мы толпились на противоположном тротуаре, пытаясь разглядеть кумиров. Это были наши боги, сошедшие с ледовой площадки телевизора, и было странно видеть их в пиджаках и галстуках. В окнах второго этажа арбатского особняка, распахнутых в теплый сентябрь 72-го года, мелькали Фил Эспозито и “Задира” Кэшман, братья Фрэнк и Пит Маховличи. На наши восторженные вопли они выглядывали из окон, улыбались, махали, показывали большие пальцы кверху, мол, жизнь – классная штука, ребята!

Столько лет прошло, а как сейчас вижу беззубую улыбку Бобби Кларка, который высунулся в окно и бросил нам значок. Другие хоккеисты тоже стали бросать значки и пластинки жвачки. Даже какие-то печенья. Что тут началось! Как я ни пытался поймать хоть что-нибудь,

меня отпихивали более удачливые. Так бы и остался ни с чем. Но тут произошло чудо. Бобби Кларк, почти лежа на подоконнике, стал тыкать в мою сторону пальцем. Я не верил своим глазам. Он смотрел именно на меня и кинул жвачку именно мне. Я поймал ее! Он рассмеялся и снова показал мне большой палец – молодец! Тут нас разогнала милиция. Жвачку мы поделили с друзьями, а обертку от нее я долго хранил. Нужно ли говорить, что это была самая вкусная жвачка, которую я когда-либо пробовал в жизни?

На следующий день к нам в класс пришла мама. У нее было строгое лицо. Мама умела быть строгой, и тогда ее боялась вся школа.

Она стала говорить, что наше поведение – это стыд и позор и для школы, и для всей страны. Нас фотографировали иностранные корреспонденты, и теперь весь мир увидит, как мы унижались, устроили драку из-за их жвачки.

Все молчали. Я чувствовал в этих обвинениях несправедливость. И вдруг неожиданно для самого себя заявил:

– А почему в нашей стране нет жвачки?

Мама ответила:

– В нашей стране много чего нет. Но это не значит, что нужно терять человеческое достоинство.

Я это запомнил.

Мама как директор была в школе представителем той тюремной системы, и ей приходилось трудно. Знаю, что она многих спасала, прикрывала. Старалась делать возможное: кесарю – кесарево, а детям – Пушкина. Пушкин на несколько поколений стал тайным кодом, ключом к сохранению человеческого в замордованной стране. Тогда уже многим казалось, что чем хуже, тем лучше, тем скорее все наконец развалится; но такие как она старались придать бесчеловечной жизни человечность. Самой ей спастись не удалось – получила свое по полной.

В мои семнадцать лет наши отношения дошли до того, что я перестал с ней разговаривать. Вообще. Жили в одной квартире, но я с ней даже не здоровался. Не мог простить ей, что она в партии, что в школе нам задавали писать сочинения по “Целине” и “Малой земле”. Мне казалось, что борьбу с ненавистной системой нужно вести бескомпромиссно и начинать с себя, с семьи, с самых близких. Мне хотелось жить не по лжи, но я не понимал тогда, что я не герой, а сопляк. Думаю, то мое молчание тоже сократило ей жизнь.

Вот написал, что перестал тогда с мамой разговаривать, и сразу почувствовал, что написал не всю правду, поэтому получилась ложь.

Действительно, я с ней даже не здоровался, но не только потому, что прочитал “Колымские рассказы” и “Архипелаг”, которые неисповедимыми путями попали тогда мне в руки и многое изменили в юношеской картине мира. Нет, конечно. Конфликт возник из-за моей первой любви. Маме не нравилась та девушка. Совсем не нравилась.

В школе она была всемогущим директором, одним взглядом могла привести в оцепенение разбушевавшийся у неопытного учителя класс, но дома, в отношениях с собственным сыном оказалась совершенно беспомощной. Разумеется, мать хотела сыну добра. Но не умела. И разумеется, мама была по поводу той девушки совершенно права. Но это я понял позже.

Катастрофа у мамы в школе случилась, когда к власти пришел Андропов. Никто не знал, что он уже смертельно болен. Все снова испугались своего страха.

Старшеклассники хотели провести вечер памяти Высоцкого. Коллеги маму отговаривали, но она разрешила. Вечер состоялся. Ребята пели его песни, читали стихи, слушали записи. На директора написали донос.

Школе устроили показательную порку, чтобы другим было неповадно.

Я уже жил тогда отдельно. Помню, как приехал домой, и мама рассказывала, как ее вызывали, как по-хамски разговаривали, как орала на нее. Она пыталась защищаться, объяснить что-то. Никто не собирался ее слушать.

Она хотела прожить свою жизнь, не теряя человеческого достоинства. За это ее просто растоптали.

Мама расплакалась, кажется, впервые при мне. Я не знал, что сказать, сидел рядом и гладил ее по плечу.

Вдруг захотелось попросить у нее прощения, что я тогда с ней почти год не разговаривал, но так и не попросил.

Маму выгнали с работы. Перенести этот удар она так и не смогла. Школа была всей ее жизнью.

Она тяжело заболела. Сначала сердце. Потом обнаружили рак. Начались больницы, операции.

Я уже сам к этому времени работал в школе, в 444-й на Первомайской, после уроков приезжал к ней, часами сидел в больничной палате, проверяя тетрадки и подавая маме то попить, то судно, читал ей из газет, стриг ногти, просто был рядом. Если говорили о чем-то, то о каких-то пустяках. Вернее, о том, что казалось тогда важным, а теперь, через столько лет, кажется неважным. Я все хотел попросить у нее прощения, но как-то не получалось.

Потом я описал это во “Взятии Измаила”: ее соседку в больнице, лысую от химиотерапии и не снимающую беретку, отчего она была похожа на художника с карикатур; как разлетались по палате обрезки ее ногтей, отросшие на скрюченных пальцах ног, когда я неуклюже пытался их постричь; как я принес ей доски на кровать, потому что мама не могла заснуть на больничной продавленной сетке.

Роман, написанный через несколько лет после маминой смерти, начинался в русской литературе, в нем было много цитат, связей, переплетений, а к концу я просто описывал то, что было в моей жизни. От сложного к простому. От книжного, начитанного – к мамину лифчику, набитому поролоном, который она надевала после того, как ей отрезали грудь. От старославянских центонов – к ее тихой смерти, которую она так ждала, чтобы отпустили боли.

На ее похоронах было очень много людей, собрались учителя, с которыми она вместе работала, бывшие ученики. У нее за долгие годы набралось много учеников. По-настоящему чему-то главному научить можно только своей жизнью.

Меня поразило, что в гробу она лежала с православным венчиком на лбу. Не знаю, откуда он взялся, мама была совсем не церковным человеком. В Бога мама не верила совершенно искренне. Она так выросла. И меня, когда родился, не хотела крестить. И не потому, что боялась неприятностей, – она была в начале 61-го, когда Сталин еще покоился в Мавзолее, школьным парторгом. Просто искренне не понимала – зачем? Бабушка тайком крестила меня в церкви в Удельной, где мы летом жили на даче.

Да и мне в детстве было ясно, что в церковь ходят только необразованные бабушки вроде моей, с тремя классами приходской школы.

А потом думал, будто старики ходят в церковь, потому что они больше, чем молодые, боятся смерти. И не знал тогда еще, что, наоборот, молодые больше боятся смерти.

Только после того, как мамы не стало, я остро почувствовал, как необходимо, чтобы между близкими людьми состоялся один самый важный разговор. Обычно такой разговор откладывают, потому что не так просто за завтраком или где-нибудь в метро заговорить о самом главном. Всегда что-то мешает. Мне нужно было попросить у мамы прощения, а я так и за все эти годы и не успел. Когда начал “Взятие Измаила”, мне казалось, что это роман об истории, о стране, о судьбе, о слове, а оказалось, что это тот самый разговор.

При жизни такой разговор, наверно, и не может состояться. Важно, чтобы он произошел, а до или после – какая разница? Главное, что она услышала меня и простила.

Между операциями, когда проводила какое-то время не в больницах, а дома, мама разбирала накопившиеся за жизнь фотографии. Попросила купить альбомы и клеивала в них карточки, каждую подписывала, кто на ней изображен, и иногда записывала на широких полях связанные с этими людьми истории. Получился семейный архив – для внуков.

После ее смерти я перевез альбомы к себе. А когда уезжал в Швейцарию, оставил все это у брата. Альбомы хранились у него в подмосковном доме.

Дом подожгли. Все наши фотографии сгорели.

У меня осталось только несколько детских карточек.

На одной из них я снят, наверно, отцом, еще на Пресне, но в тот же год мы переехали в Матвеевскую. Я в четвертом классе. На мне пальто с невидимым для объектива хлястиком. Очень хорошо помню то пальто, которое донашивал за братом. Мне все приходилось за ним донашивать. А пальто запомнилось вот почему. Мама часто рассказывала эту историю. Она очень короткая.

Из Матвеевской мы ездили в школу на 77-м автобусе до Дорогомиловской, а там пересаживались на троллейбус до Арбата, или можно было доехать на том же автобусе в другую сторону до железнодорожной станции и оттуда до Киевского вокзала. В то утро мы поехали на станцию. Ночью выпал первый снег. Тысячи ног утоптали платформу в ледяной каток. Когда подошла электричка, все ринулись к дверям. Вагоны, и так переполненные, нужно было штурмовать, втискиваться в битком набитые тамбуры. Между краем платформы и дверью была огромная щель, в которую я, поскользнувшись, и устремился. Мама, к счастью, удержала меня за хлястик.

Вот, собственно, и вся история, ничего особенного. Но для мамы этот случай был так важен, что она вспоминала его и незадолго перед смертью. Улыбалась и шептала чуть слышно – голос тогда она уже потеряла, могла только шептать:

– Тяну за хлястик и одна мысль в голове – вдруг сейчас оборвется?

И “Венерин волос”, написанный в Цюрихе и Риме, начинался на самом деле с мамы, вернее, с ее дневника, который она мне дала перед своей последней операцией. Толстая тетрадь в клеенчатом переплете. Пожелтевшие страницы, исписанные карандашом, причем не тем “медицинским” почерком, который я знал, а каким-то уютным, девичьим. Мама начала записи в выпускном классе школы и вела несколько лет, когда уже была студенткой. Конец сороковых – самое начало пятидесятых.

Помню, что она мне рассказывала про гонения на “космополитов” у них в институте, когда исчезали самые хорошие профессора. Но в той тетрадке ничего этого нет. Самый обыкновенный дневник девушки: хочется кого-то любить, тревожные прислушивания к своему сердцу, пришло ли уже то самое чувство, настоящее ли? И очень много счастья. От прочитанных книг, от подруг, от солнца за окном, от дождя. Страницы, из которых перехлестывает бездумная юная уверенность в том, что жизнь даст больше, чем просишь.

Никаких следов страха, сковавшего страну. Будто не было никаких доносов, лагерей, арестов, очередей, нищеты.

Читал тогда и поражался наивности той слепой, не видевшей, куда она попала, девочки.

Эта девочка родилась в стране-тюрьме, во мраке, а все равно воспринимала свою жизнь как дар, как возможность осуществиться в любви, дать любовь, поделиться с миром своим счастьем.

Когда я узнал, что в подмосковном пожаре погиб и мамин дневник, почувствовал, что он меня не отпускает. И в какой-то момент пришло понимание: нет, это была не наивность и глупость юной дурочки, не осознававшей, что творится вокруг, это была мудрость того,

кто посылал, посылает и будет всегда посылать девочек в этот мир, в какой бы ад мы его ни превратили.

Мир кругом холоден и темен, но в него послана девочка, чтобы своей потребностью в любви освещать, как свеча, окружающую человечью тьму.

Мама очень любила петь, но знала, что голоса у нее нет, и стеснялась. Пела, когда оставалась одна. Пела чаще всего то, что слушала в детстве. Одна из ее любимых певиц была Изабелла Юрьева. У отца были старые пластинки с ее романсами, и он часто заводил их, когда мы еще жили вместе в подвале в Староконюшенном и на Пресне.

Я тогда был уверен, что все эти голоса со старых пластинок – давно умерших людей. Для меня тогда был что Сталин, что Иван Грозный – далекое прошлое. Потом вдруг выяснилось, что Изабелла Юрьева жива, снова стали выпускать пластинки, показывать ее по телевизору. При желании можно было даже попасть на встречу с ней в Доме актера. Я так никогда с ней живой и не встретился.

Когда певица умерла, поразило, что она прожила 100 лет, родилась в 1899-м и умерла в 2000-м – весь чудовищный проклятый русский XX век.

Я хотел написать книгу о том, что почувствовал и понял благодаря маминому дневнику. Я стал писать о Белле. Получился роман “Венерин волос”.

От жизни певицы мало что осталось – ни дневников, ни мемуаров, известна только общая жизненная канва. В те годы люди боялись своего прошлого – неизвестно было, что из прожитого может оказаться в будущем смертельно опасным. Опасным могло оказаться все: прошедшие встречи, слова, письма. Прошлое уничтожали, старались избавиться от него.

Мне хотелось вернуть ей уничтоженную жизнь. Я стал писать ее воспоминания и дневники.

Мне важно было, по возможности, ничего не выдумывать. Например, взять из мемуаров людей, живших в том дореволюционном Ростове, непридуманное и вернуть моей Белле ее реальных учителей в гимназии Билинской на Таганрогском проспекте в доме Хакладжева, приказчика в писчебумажном магазине Иосифа Покорного на Садовой, где она покупала тетрадки и перья, того гимназического швейцара, который, прочитав “Холстомера”, завещал свой скелет в анатомический кабинет.

Я по деталям возвращал ей прожитое, исчезнувшее.

Она ничего никогда не делала, кроме того, что пела, – как та стрекоза из басни. Только в реальной жизни для муравьев, строивших вавилонскую кучу до небес и превращавшихся в лагерную пыль, ее пение было не менее важным для выживания, чем запасы на зиму. Она была той самой свечкой, что хоть немного освещала их мрак. Она пела рабам о любви. Она помогала им сохранять человеческое достоинство.

Мне очень хотелось вернуть ей жизнь, хотя бы в книге – а другого способа и не существует.

Многое в жизни Изабеллы Юрьевой было, конечно, не так, как у моей Беллы.

Но знаю, когда мы с ней наконец встретимся, Изабелла Даниловна простит меня и скажет:

– Не переживай! Все хорошо. Спасибо тебе!

И вот теперь я возвращаюсь в дом отдыха на Волге, где в лесу полно земляники и все еще живы.

Вижу те картинки:

Кирпичная дорожка в столовую, выложенная елочкой.

Загаженный ближний лес, везде бумажки, бутылки, промасленные газеты.

Волга под ливнем, белая от пузырчатой пены, будто стирка.

Мы собирали грибы в дальнем лесу и возвращаемся проселком, а глаза все не могут остановиться – рыщут по обочине.

А вот мы с мамой ходили с утра на Волгу купаться, возвращаемся к нашему домику. Идем босиком по мокрому мху, и между пальцами проступает роса. Поднимаемся на ступеньки крыльца, уже нагретые на солнце, и мама обращает мое внимание на наши быстро исчезающие следы:

– Видишь, у меня плоскостопие!

Наша комната в жаркий день: грибная сырость, шторы заколоты булавкой, обои заворачиваются, вспучиваются, мама закрывает скрипучую дверцу шкафчика, сунув в щель кусочек картона, чтобы не раскрывалась.

А теперь вижу пивную в ближайшем городке, в которую дядя Витя заскочил на минутку, и вот мы с мамой стоим на жаре уже полчаса, а он все не выходит.

Я все ждал, когда дядя Витя спросит меня о папе, но он до самого последнего дня так и не спросил.

В последнюю ночь перед отъездом я проснулся от мысли, что мама когда-нибудь умрет. Лежал в темноте, слушал, как она сопит во сне и, всхрапнув, просыпается, потом долго ворочается и снова принимается сопеть. Помню это острое чувство жалости, которое не давало мне уснуть. Получалось как-то странно – она лежала на соседней кровати совершенно живая и в то же время она уже будто умерла. Еще очень хотелось в уборную. Туалетов в домиках не было. Днем приходилось бегать в малопривлекательное заведение, смердящее хлоркой, но ночью я просто устраивался где-нибудь недалеко от крыльца.

Я тихо встал и вышел, осторожно прикрыв за собой дверь.

Сырость, туман, ночной холод. Вот-вот будет светать.

Я остановился у ближайшего куста. От струи шел пар.

И вдруг со мной что-то произошло. Будто я попал из ненастоящего в настоящее. Будто все чувства, как объектив, навели на резкость. Будто у всего мира кругом оказалась моя кожа, продрогшая от августовского утренника.

Оглядывался и не понимал, что происходит, ведь проходил здесь столько раз – и не замечал, а теперь увидел, будто впервые, и этот куст жимолости, и рябину, и полотенце, забытое на протянутой веревке.

Из тумана в тишине доносились звуки: далекий гул моторки с реки, лай собак из деревни на том берегу, тревожный крик ночной птицы, гудок поезда со станции, от шоссе долетал чей-то хриплый мат и девичий пьяный хохот.

Еще я услышал свое дыхание, как мои легкие захватывали жизнь.

Вдруг ощутил себя не у куста посреди тумана, а посреди мироздания. Да я и был мирозданием. В первый раз я тогда испытал это удивительное чувство. И это было не только предвосхищение всей будущей жизни. Тогда впервые все замкнулось, стало единым целым. Дымок от невидимого костра и мокрое шуршание в траве у меня под ногами. Не умерший папа и ничего не спросивший дядя Витя. Что было и что будет.

Все еще не названо, внесловесно, потому что таких слов не бывает.

И Волга где-то тут, в тумане течет, плещется, но ни в какое Каспийское море не впадает.

И мама умерла и живет одновременно. Лежит в гробу с православным бумажным венчиком на лбу и сопит во сне в том доме отдыха.

И все сливается в единое целое: и пальто с хлястиком, и беззубая улыбка Бобби Кларка, и сугроб Роберта Вальзера, и тот раздолбанный 77-й, который когда-то не дотянул до Дорогомиловской, и пришлось топтать по лужам. И я, печатающий сейчас на моем ноутбуке эти слова. И тот или та я, кто читает сейчас эту строчку.

И единственная возможность умереть – это задохнуться от счастья.

Вильгельм Телль как зеркало русских революций Опыт сравнительной монументологии

В Швейцарии бросаются в глаза дырки в пейзаже, заполняемые в России памятниками. В русской деревне может не быть водопровода, телефона и других признаков цивилизации, но обязательно будет обелиск тем, кто ушел на войну и не вернулся. Перст, указующий русскому прохожему его путь на небо. Дорожный знак, напоминающий тебе о твоём предназначении: к журавлиному бессмертию. Здесь этого нет.

Главной швейцарской святыней является луг, на котором некогда была принесена клятва верности отцами-основателями первого союза кантонов. И трава, и коровы настоящие. Комментарий Василия Жуковского, подплывшего на лодке к лугу Рютли, “покрытой зеленым дерном площадке”: “На ней нет памятника; но свобода Швейцарии еще существует”. В стране идей луг был бы принесен в жертву памятнику лугу.

Бог вкладывает в плоть душу, человек в камень – идею. Как люди, памятники бывают живые и мертвые. Как смерть человека не означает прекращения существования ни для души, ни для тела, так памятник может оставаться живым и через сотни лет после своего физического уничтожения, а может уже появиться на свет мертворожденным. Так идея Вавилонской башни живет и через тысячи лет после ее физического разрушения. Так снежная жена Франциска Ассизского, давным-давно растаяв, и сейчас является сгустком любви к Творцу.

Признак жизни памятника – не столько поклонение ему (поклонение – мертвый ритуал), но скорее борьба с ним, начиная от хулиганского пачкания или террористических попыток его взорвать и кончая сносом – с восстановлением в том или ином виде следующими поколениями.

В России, где идеи, похоже, не умирают, но, как призраки, неистребимы в старом доме и являются каждому новому поколению, пугая обывателей, памятники бессмертны и без конца вмешиваются в жизнь смертных. По количеству снесенных монументов Россия лидирует в мире. Только на жизни последних поколений там прокатилось столько волн их уничтожения, что хватило бы иной стране на много веков исторического развития. Ускорение круговорота идей в России обещает скорое возвращение железных и каменных людей на свои постаменты. Они живее живых.

Памятник есть всегда в практическом быту нечто бесполезное, ненужное, пустая трата материала и труда. Роль идей в жизни нации отражается в размерах памятников. Чем величавее пирамиды и каналы, тем ничтожнее их строитель.

“Место, где жил Вильгельм Телль, – читаем дальше у Жуковского, – означено часовнею. Этот обычай, строить вместо великолепных памятников скромные алтари благодарности Богу на местах славы отечественной, трогает и возвышает душу... На вершине Риги стоит простой деревянный крест, и маленькая часовня Телля таится между огромными утесами: но они не исчезают посреди этих громад, ибо говорят не о бедном могуществе человека, здесь столь ничтожном, но о величии души человеческой, о вере, которая возносит ее туда, куда не могут достигнуть горы своими вершинами”.

Памятник, ставший символом страны, – Храм Христа Спасителя. История его жизни, смерти и воскрешения – песня о главном. Притча о жертве. Непостроенный монумент, по сравнению с которым Вавилонская башня – кулич в песочнице, приносят в жертву бассейну, быту, удобствам частной жизни, приоритетам индивидуума. А затем – сакральное умерщвление бассейна как идеи важности маленьких радостей отдельной личности и воскрешение Храма как восстание из гроба идеи могущества империи.

Для опыта сравнительной монументологии забавно проследить судьбу памятника, соединившего в себе и Россию, и Швейцарию. Этот своеобразный каменный сиамский близнец – 12-метровый крест, вырубленный в скале у Чертова моста. История его такова. Идея увековечить к столетнему юбилею память соотечественников, защищавших высшие интересы отечества в Альпах, принадлежала князю Сергею Михайловичу Голицыну. В октябре 1892 года он обратился в министерство иностранных дел с предложением установить на свои средства памятный крест Суворову в ущелье Чертова моста. Запрос был направлен швейцарскому правительству. Официальный Берн ответил отказом. Негоже свобододолюбивым гельветам устанавливать на своей земле памятники чужим полководцам.

Однако жители общины Урзерн, наоборот, заинтересованы в русском монументе на своей территории в надежде, что такая достопримечательность привлечет в их бедные края богатых туристов. Выход находится: раз идея, мешающая реальной жизни, выражена в формулировке, то нужно изменить формулировку. С русской стороны поступает новое прошение, но теперь речь идет об увековечении памяти павших русских солдат. На такую формулировку Федеральный совет дает свое согласие. Община Урзерн объявляет о безвозмездной уступке России участка земли для памятника. С тех пор этот кусок скалы в Альпах является, как это ни странно звучит, суверенной территорией России.

Памятник Суворову у Чертова моста торжественно открывается в сентябре 1898 года. На открытии присутствуют военные делегации России и Швейцарии. После панихиды по павшим, отслуженной у памятника, от имени Голицына в Андерматте дается торжественный банкет. Русский посланник в Берне сообщает в Петербург об этом событии и приводит речь представителя швейцарской армии: «Мы счастливы, что этот крест над могилою русских воинов, столь драгоценной для всякого солдата, воздвигнут теперь среди укреплений Готарда, предназначенных для того, чтобы обеспечить нашу независимость. Русские могут быть уверены, что мы свято будем охранять этот крест и никто не нарушит его святости...». Олдерман, представитель общины Урзерн, в своем выступлении выразил надежду, что строительство памятника привлечет на благо общине русских туристов.

Увы, надежда швейцарцев использовать царского генерала в качестве туристической рекламы не оправдалась. Жители глухой альпийской деревни ввязались в русскую войну памятников и поставили не на ту лошадку. В катившейся к революции России непобедимый генералиссимус вызывал какие угодно чувства, только не восторг. Вот пример типичного для того времени отношения к памятнику, который находим в воспоминаниях Германа Сандомирского, студента, вместе с товарищами пешком путешествовавшего в начале прошлого века из Женевы в Цюрих: «Я забыл еще упомянуть о том, что мы проходили мимо знаменитого «Чортова моста», запечатлевшего баснословную жестокость русского полководца Суворова, положившего здесь много тысяч солдат, которых он заставлял в полном вооружении взбираться по отвесным скалам. Говорят, что тысячами солдатских трупов заполнялись пропасти между этими скалами и по ним проходили оставшиеся в живых. Здесь кем-то поставлен памятник погибшим жертвам. Этот памятник служит символом гнуснейшего самодержавного режима».

Подобное отношение после революции новой власти в России к прошлому напрямую отразилось на состоянии швейцарского памятника: суворовский крест с годами пришел в запустение и стал потихоньку разваливаться. Но и памятник-эмигрант испытал на себе судьбу своих отечественных каменных и железных собратьев: за смертью приходит возрождение. С превращением революционной России в советскую империю менялось и отношение к Суворову. С началом войны всячески возрождается культ царского генерала. Последовал вал книг, фильмов, орденов, памятников, посвященных Суворову, а после войны вспомнили и о суворовском кресте в далеких Альпах. Революционное отречение от импер-

ского прошлого сменилось благоговейным почитанием, и Советский Союз выделил средства на ремонт, которым занималось советское посольство в Берне.

После перестройки события в России пошли в убыстренном темпе – ускорилась и неспешная жизнь памятников. Так получилось, что возрождение имперского духа на советских развалинах совпало с 200-летней годовщиной суворовского похода. История вековой давности повторилась буквально: круговорот русских идей совершил свой оборот точно к юбилею. Столетия срифмовались: снова в сентябре был открыт памятник Суворову, но на этот раз уже на перевале Сен-Готард.

На этот раз швейцарцы были более покладистыми, несмотря на, то что памятник представляет собой конную статую иноземца-военачальника, попирающего землю свободолюбивых гельветов. Более того, и деньги на памятник царскому генералу дали альпийские жители, что можно объяснить лишь знаком благодарности швейцарских банков за те миллиарды, которые им принесли за последние годы частные клиенты из России. Русский монумент на перевале оказался побочным продуктом большой стиральной машины по отмывке денег.

Сам памятник, исполненный скульптором Тугариновым, вызвал у официальной делегации из Москвы неудовольствие, но кто же будет портить себе поездку в Швейцарию за казенный счет из-за такого пустяка, как трактовка образа Суворова? А образ и создает интригу: полководец изображен не суперменом, но юродивым. Скульпторы обычно направляют взгляд героя на завоеванную, вернее, на освобожденную землю, рука, как правило, поднята в угрожающем или указующем на врага жесте. Здесь все не так. На полуживой кляче примостилась курицей сумасшедшая старуха, в которой трудно узнать привычный молодецкий образ народного любимца-генералиссимуса. Глаза устремлены в небо, а рука осеняет крестным знаменем. Альпийский крестьянин-проводник с сожалением и сочувствием смотрит на уставшую изможденную лошадь. Вольно или невольно скульптор создал метафору двух мироощущений: русская мессианская идея, оседлав народ, гонит его Бог знает куда, а швейцарский пастух, не глядя в небо, пытается найти надежную тропинку среди скал и пропастей.

Два наиболее известных швейцарских памятника – люцернский Лев и Вильгельм Телль в Альтдорфе.

Идея увековечить память швейцарских гвардейцев, погибших при штурме Тюильри в 1792 году, вот уже два столетия навевает на русских путешественников задумчивость. Так, например, уже вскоре после открытия монумента, писатель и журналист Александр Тургенев смущен сущью совершенного героическими швейцарцами поступка: “Мне всё что-то больно, когда думаю, что этот памятник воздвигнут швейцарам и, конечно, за прекрасный подвиг, но этот подвиг внушен не патриотизмом, а только солдатским *point d'honneur*¹ и швейцарскою верностью. Они умерли за чужого короля, защищая не свою землю, не свое правительство, – не за свое дело – а в чужом пиру похмелье”. А Салтыков-Щедрин более чем через полвека так интерпретирует латинскую надпись на памятнике “*Helvetiorum virtuti ac fidei*” (“Доблести и верности швейцарцев”) – “Любезно-верным швейцарцам, спасавшим в 1792 году, за поденную плату, французское престол-отечество”.

Понятия чести как верности заключенной конвенции, исполнения подписанного договора, добровольное подчинение урегулированному порядку и, как следствие, героическая гибель “за поденную плату” – трудно все это переварить русскому рассудку. После того, как Наполеон практически оккупировал альпийскую республику, Швейцария вынуждена была поставить войска для завоевания России. “Служба в наполеоновской армии, которую

¹ *Дело чести (фр.).

несли молодые швейцарцы в соответствии с договором, была им ненавистна”, – комментирует швейцарский учебник истории. Но как это соотносится с тем, что написано в следующем абзаце той же истории о походе Великой армии? “В ее рядах отправились в Россию 10000 швейцарских солдат. Они отличались в походе своим наступательным духом и большой выдержкой. Когда кампания завершилась неудачей, «красные швейцарцы» мужественно прикрывали переправу остатков наполеоновской армии через Березину. Из 10000 швейцарцев на родину из России вернулись только 700 человек, израненных и изможденных”.

Если ты вынужден служить в армии, да еще “ненавистной”, то почему ты обязательно должен быть героем, проявлять “наступательный дух” и жертвовать собой за иностранного завоевателя? Благодаря швейцарским солдатам, самоотверженно сражавшимся против русских войск, которые стремились захватить Наполеона и остатки его армии на Березине, французскому императору удалось уйти от пленения, и война в Европе продолжалась еще два года, и стоила еще десятков тысяч человеческих жизней. Но у потомков Телля свое представление о чести.

О швейцарце Вильгельме Телле, стрелявшем из арбалета в яблоко на голове сына, слышали все, но редкий читатель знаком с первоисточником. Впервые легенда упоминается в 1570 году Эгидусом Чуди в “Хроникон Гельветикум”. Итак, некий крестьянин не оказал почтения символу власти – повешенной на столбе шляпе австрийского наместника Геслера, и на него донесли. “В понедельник послал он (Геслер. – *М.Ш.*) за Теллем и с гневом спросил, почему тот не подчиняется указам и не поклонился шляпе, оскорбив тем самым честь императора и его наместника. Телль отвечал: «Господин мой, произошло это не из злого умысла, а по недосмотру. Будь я благоразумный человек, меня не прозвали бы Теллем (диал. “простак”. – *М.Ш.*). Я прошу Вашу милость простить мне и приписать этот проступок моей дурости. Это никогда более не повторится”.

Легенда о Телле – это инициационный миф. Первобытный этап развития, когда царит право кулака, завершен, сознание народа вступает в пору взрослого понимания необходимости конвенции, добровольного подчинения порядку, законам, пусть и не самым приятным, но необходимым. Это миф о добровольном подчинении договору и наказании за его нарушение.

Шляпа законодателя и исполнителя данных законов – символ порядка, правил, которые могут быть нам неприятны, но лежат в основе сосуществования, делают возможным частную жизнь, нормальное функционирование общества. Мы поклоняемся этой шляпе, например, тем, что платим налоги. Герой мифа нарушает порядок, преступает закон, вовсе того не желая, и готов понести за это наказание, то есть осознанно принести жертву ради сохранения порядка, который он невольно нарушил. Готовность по приказу Геслера стрелять в сына есть свободный выбор подчинения договору, готовность принять условности закона, существующих правил. Из пространства нечаянного нарушения договора герой хочет вернуться обратно в рамки закона – путем добровольного понесения наказания. Свобода как осознанная потребность жить по установленным правилам. В этом смысле Телль, послушно выполняющий приказание стрелять в своего собственного сына, и есть борец за свободу.

Фридрих Дюренматт сформулировал это понимание свободы в звонкой метафоре: “Швейцария – это тюрьма, в которой каждый заключенный доказывает свою свободу тем, что является собственным охранником”. Это, пожалуй, самое удачное определение демократии, которая может существовать только как результат самоограничения, самоконтроля.

Приказ самодура стрелять в ребенка – лучший момент для восстания против существующего порядка. Именно здесь любой из нас, имеющих собственных детей, нарушил бы условия общественного договора, каким бы законопослушным ни был. Но именно сохранить договор – цель Телля. Ослушаться властей, нарушить закон – черта, через которую не

может переступить национальный герой Швейцарии. Бог на его стороне: стрела пронзает яблоко, доказывая правоту его законопослушной жизненной позиции. Отец нации искупил свою вину и остался в рамках существующих правил.

Нарушает же договор именно Геслер. Он не сдерживает своего слова отпустить удачливого стрелка на свободу и велит снова схватить Телля. Нарушение своего слова наместником является в этом мифе нарушением закона. Преступление против порядка совершает иностранец, и за это должен быть наказан. Убийство Геслера и есть восстановление законности руками духовного основателя Швейцарии.

Если бы был объявлен конкурс на тему «Памятник Швейцарии», я предложил бы тюрьму. Не метафорическую тюрьму Дюренматта, а самую обыкновенную.

Кто-то сказал: хочешь понять людей, посмотри на их тюрьму. Я отправился в тюрьму в Аффольтерн-ам-Альбис на экскурсию. То, что я увидел, вызывало ассоциации вовсе не с тюрьмой, но скорее с домом творчества Союза советских писателей. Только в сравнении со швейцарской тюрьмой дом писателей явно проигрывал. Что не удивительно, если содержание одного заключенного обходится налогоплательщикам в 400 франков в день.

Начальник тюрьмы – местный крестьянин, который увидел объявление о том, что ищут человека на должность директора местного исправительного заведения. Подал заявление о приеме на работу, прошел конкурс и получил это место. Огромный деревенский увалень, в котором и сейчас, через много лет работы в тюрьме, осталось что-то добродушно-крестьянское. Он водил меня по тюрьме, как по своему хозяйству, о котором с любовью заботился. Своих заключенных всех знал с их семейными подробностями, при встрече похлопывал по плечу. В кабинете на стене напротив списка зэков – указания, когда у кого день рождения, чтобы не забыть сделать подарок, кто чем болен, кто мусульманин и не ест свинины. Заключенные, если хорошо себя ведут, получают возможность работать и деньги посылают к себе домой – в Албанию, Косово, Африку. В тюрьме не было ни одного швейцарца. Разумеется, это не говорит о том, что швейцарцы не грабят, не режут, не убивают.

Я спросил бывшего крестьянина, в чем тот видит свою цель как директор тюрьмы. Он подумал и ответил: «В том, чтобы мои заключенные были довольны». И уточнил: «Если они довольны едой, работой, бытовыми условиями, начальством, охраной, то у них нет повода для эксцессов, мятежа и прочее. Это – люди, и я уважаю в них человеческое достоинство».

Странно мне было все это. Смысл тюрьмы в наказании. Наказание здесь заключается не в физических мучениях плохой едой, темнотой, холодом, плохими условиями сна, тараканами, избиениями, цель которых унижить, растоптать в тебе человека, но в лишении свободы, то есть в лишении возможности осознанно, свободно подчиняться существующим правилам. Тюрьма в Швейцарии должна лишить человека того, чего у него и так нет ни в Албании, ни в Африке. Ни в России.

Потом в столовой мы ели все вместе – заключенные, директор, экскурсант.

Эшер фон дер Линт, известный швейцарский инженер, гуманист и политик, сказал два века назад: «Нам отраднее видеть счастливых граждан и богатых подданных на площадях, нежели красивые памятники».

Может быть, послать эти внятные слова на конкурс русской идеи?

2005

Кампанила Святого Марка

“Плодитесь и размножайтесь! И это все, что нам завещано? Но этому завету следуют и мыши, и палочки Коха. Ведь человек неизмеримо больше своего физического естества! Ведь нельзя всю меня, все мои нерастраченные силы, жажду совершить что-то важное, большое, нужное, полезное человечеству, моему народу, моей родине, свести к продолжению рода!”

Это отрывок из письма Лидии Кочетковой своему будущему мужу Фрицу Брупбахеру, отправленного в октябре 1898 года.

С этой удивительной историей любви я впервые соприкоснулся, когда собирал материалы для моей “Русской Швейцарии”. Шесть тысяч писем и открыток хранятся в архиве Международного института социальной истории в Амстердаме.

Семнадцать лет переломной эпохи, запечатленные в переписке.

В России Фриц Брупбахер почти неизвестен, да и в Швейцарии его забыли, хотя на тусклом фоне швейцарских политических деятелей этот человек ярко выделяется своей “нешвейцарской” чертой – неспособностью к компромиссу. Врач в рабочем районе Цюриха, депутат городского совета, активный интернационалист, публицист, социалист, он был исключен из Швейцарской соцпартии во время Первой мировой за пацифизм. Один из основателей компартии Швейцарии, он в 32-м году был исключен и из ее рядов за резкую критику Сталина. Автор социалистических брошюр и интереснейших мемуаров, он умело владел пером и перед смертью в январе 1945 года в возрасте семидесяти лет сожалел, что не стал писателем.

Кстати, в Цюрихе памятная доска на доме 14 по Шпигельгассе, в котором жил во время своей эмиграции Ленин, повешена по инициативе именно Фрица Брупбахера, лично знавшего и лидера мирового пролетариата, и многих других известных и неизвестных русских революционеров.

Студентом-медиком в 1897 году он встретился с девушкой из России и влюбился в нее. Она стала его женой. В мемуарах “60 лет еретика”, изданных в 1935 году, он напишет об этом браке: “Я был женат на русской революции”.

Лидия Кочеткова. К моменту знакомства с Брупбахером ей двадцать пять. Она родилась в Самаре, училась в Петербурге на женских курсах у знаменитого врача Лесгафта, потом отправилась получать медицинское образование за границу. Посещала лекции в университетах Берлина, Женевы, Берна. Городом, где она защитила диплом врача и встретила любовь своей жизни, стал Цюрих.

“Врач – это путь, а не цель, – написала она в одном из ранних писем, объясняя Фрицу разницу между швейцарскими и русскими студентами-медиками. – Моя цель – революция”.

Кумир Лидии Кочетковой, народоволка Вера Фигнер, по следам которой девушка приехала учиться на врача в Швейцарию, внятно объяснила в своих воспоминаниях это отношение русских студентов к будущему занятию – профессия врача позволяла беспрепятственно вести пропаганду в народе.

Революционными идеалами был пропитан русский воздух. И в семье Кочетковых к революционерам отношение было особое. О рано умершем отце мы практически ничего не знаем, но из писем известно, что с детства Лидия увлекалась рассказами матери, выросшей в Иркутске, как великий ниспровергатель Кропоткин, тогда еще царский офицер, просил у нее руки, но родители институтки князю отказали. В мать Лидии, Анастасию Ивановну, которая была близка к революционным кругам и сама одно время находилась под тайным наблюдением полиции, были в молодости влюблены известные народовольцы Лазарев и Шишко. Уже будучи в швейцарской эмиграции, они повлияют на выбор партии – Лидия присоединится к эсерам.

Еще до встречи с Фрицем Брупбахером у Лидии четко сформировались жизненные идеалы: “Я готова пожертвовать всем, что у меня есть, ради счастья народа”.

Неудивительно, что русская девушка с такими необычными для швейцарской реальности взглядами произвела впечатление на молодого гельвета. Брупбахер вспоминал эти дни: “Русские студентки презирали нас, швейцарских студентов-медиков, которые учились для получения солидной профессии и солидного дохода. Для Лидии швейцарцы, как и представители других западноевропейских стран, в массе своей олицетворяли такой тип людей, которому свойственны многочисленные недостатки и пороки: духовный консерватизм, ориентированность исключительно на материальные ценности, холодный расчет, бездушность и эгоизм. Швейцарского студента занимали проблемы доходности ценных бумаг и выгодной женитьбы, русского – проблемы переустройства всего света. Она заразила меня социализмом, давала читать книги, водила на собрания. Лидия и ее горячая вера в социалистический идеал настолько захватили меня, что я готов был последовать за ней куда угодно”.

В его чувстве к Лидии переплелись страсть и к социалистической истине, и к русской экзотике: “Русская женщина оказалась для меня совершенным открытием – наполненная жизненными страстями, нескрываемыми эмоциями, необыкновенной энергетикой. Разница между нами чувствовалась во всем, в быту, в поведении, в манере говорить, мыслить, в каждой мелочи, даже в том, как мы готовились к экзаменам: швейцарцы брали эту крепость многомесячной осадой, русские – лихой атакой”.

Спустя годы, пытаясь понять природу той веры в социализм, которая овладевала душами молодых людей, Брупбахер напишет: “Для нее народ и любовь к народу были что-то вроде религии, при этом слово религия в ее присутствии вообще нельзя было произносить. Высшим идеалом было принять мученичество – отправиться на каторгу или еще лучше кончить жизнь на виселице. По этим людям можно было представлять себе первых христиан, шедших на казнь со слезами счастья”.

Он вспоминает “иконостас” в ее комнатке – гравюры и фотографии мучеников революции: Софьи Перовской, Веры Фигнер и других террористок.

“Ядром того, что русские понимали под социализмом, – читаем далее в его воспоминаниях, – было стремление растворить свое Я в идее самоотречения для народа. Все остальное в социализме было второстепенно. Это была страсть жить для других. Я само по себе не представляло никакой ценности. Она пожертвовала своими любимыми научными занятиями в области естествознания, чтобы стать врачом, жить среди народа и посвятить свою жизнь служению ему. Ее переполняла ненависть к царизму. Примером для нее служили царевубийцы из кружка Перовской. <...> Эта настоящая, без какой-либо позы, страсть к самопожертвованию ради идеи, страсть растворить все свое Я, приводила в смущение, сбивала с толку и имела что-то сказочное для человека, являвшегося представителем народа, о котором на всем свете говорят: «Без денег нет гельветов»”.

Чувство, которое охватило молодых людей, стремительно несло их навстречу друг другу, несмотря на все ментальные и национальные преграды.

Ее письмо от 25 июля 1899 года:

“Ты боишься, что я полюбила тебя, потому что ты стал социалистом? Если бы в этом вопросе социализм был определяющим, то, поверь, я влюбилась бы в Бебеля, а не в тебя. Твое обращение тем важнее, что теперь между нами устранено последнее препятствие для нашей любви. С тех пор, как ты стал социалистом, я забываю, что ты социалист, и люблю тебя, потому что люблю тебя. Это такое счастье!”

В другом письме того же года: “Сердце мое! Я люблю тебя именно потому, что ты совсем не похож на швейцарца! Я никогда бы не смогла полюбить одного из этих мешан, думающих только о своем домике и садике! Я с самого начала почувствовала в тебе, что ты – один из нас”.

Живя в одном городе и часто встречаясь, они писали друг другу ежедневно, и даже по несколько писем в день.

Получив диплом врача, Брупбахер открывает практику в Ауссерзиле, рабочем районе Цюриха, и начинает политическую работу – пишет в социалистические издания, устраивает собрания, много выступает. Рабочие избирают его своим депутатом в Городской совет. Лидия тоже заканчивает учебу в университете, и встает вопрос об их совместном будущем.

Он предлагает ей пожениться, но у молодой женщины никогда не было ни намерений, ни желаний навсегда связывать свою судьбу со Швейцарией – Лидия мечтает о работе земским врачом в русской глубинке. Влюбленные становятся перед неразрешимой дилеммой: оба хотят бороться за социализм – он у себя на родине среди цюрихских рабочих, она – в России среди крестьян, и оба хотят быть вместе.

К тому же и отношение к семье как социальному институту у нее сложное.

“Само слово брак мне отвратительно, – пишет Лидия Фрицу в ноябре 1900 года. – Мы с тобой новые люди, люди будущего, и мы будем строить такие отношения, которых эти бюргеры просто не знают. Ненавижу их лживый брак! У нас с тобой все будет по-другому!”

Влюбленные заключают удивительный для своего времени брачный договор: они предоставляли друг другу свободу проживания в разных странах и отказывались от детей.

“Обычный брак – ложь. Наш брак – протест, – пишет она своему жениху. – Мы идем против течения. Сердце мое, я горжусь тобой! Я горжусь нами! Не могу выразить словами, как я счастлива твоей любовью! Твоя любовь – самое прекрасное, самое дорогое, что у меня есть”.

Но это объяснение не мешает ей в том же письме утверждать обратное: “Итак, все же есть нечто более сильное и великое, чем любовь к отдельному человеку”.

На отношение Лидии к браку как таковому сказался опыт ее родителей.

“Я знаю, как семья уничтожает личность. Моя собственная мать тому прекрасный, а вернее сказать, жалкий пример. Брак с моим отцом именно уничтожил в ней личность. Девушка с идеалами превратилась в буржуазную ничего не делающую даму, которая бездарно растрчивает время своей жизни по курортам. Без цели, без высшего предназначения. Дети выросли, ушли, и она осталась с пустотой внутри себя и вокруг”.

Традиционная семья в понимании Лидии представляла собой источник человеческого несчастья.

“Как часто я слышала от матери с самого детства, что брак сделал ее несчастной. Она вышла замуж по любви, но в конце концов все кончилось тем, что она возненавидела мужа, видела в детях причину своего несчастья и оплакивала свою умершую душу. Мама не уставала повторять, что дети связали ей руки и она из-за них не смогла осуществиться в этой жизни”.

Отношения с матерью и братом Вячеславом у Лидии не сложились. Анастасия Ивановна жила большей частью за границей на оставленный мужем капитал, “не принося никакой пользы обществу, стране, народу”. Дочь ставила ей в вину “общественную бесполезность”, хотя почти всю жизнь жила на исправно присылаемые матерью деньги.

“Да, она умная, энергичная, способная. Но какая человечеству от этого польза? Да, она увеличила население земли на двух младенцев – но это произошло против ее воли. Для чего она появилась на этом свете? Неужели для курортных процедур?”

И в другом письме снова о матери: “Какие страшные слова я сейчас напишу: я презираю мою мать и больше всего на свете не хочу быть на нее похожей. Бедная моя мама! Что с тобой сделалось? Почему? Моя жизнь будет совсем другой!”

Брупбахер вспоминает: “Первым мужчиной в ее сознании был отец, который навсегда запечатлелся в отвратительном пьяном образе. От детства остались воспоминания о бесконечных семейных скандалах и унижениях матери. Да и с братом Вячеславом из-за отсут-

ствия у того высоких революционных идеалов Лидия прервала всякие отношения. С семьей у нее не связывалось ничего положительного. По сути она была очень одиноким человеком”.

В более позднем письме, отправленном в декабре 1913 года, Лидия напишет: “Ты говоришь о важности любви в детстве – это так правильно! Рядом со мной никогда не было такого любящего существа – и мама, и брат, и няня никогда не были мне по-настоящему близки. Никогда не было настоящей подруги. Все это были суррогаты – люди, которые назывались близкими, но никогда такими так и не стали. А мне так было нужно, чтобы меня любили! И никого, кроме тебя, никогда не интересовало по-настоящему, что происходит со мной, с моей душой”.

Активно обсуждался в переписке и вопрос отказа от рождения детей.

“Рождение детей – это конец всем моим мечтам о настоящей большой жизни, наполненной полезной важной деятельностью. Рано или поздно нужно сделать выбор: дети или воплощение моих идеалов. Одно нужно принести в жертву другому. И потом, если я готова принести в жертву себя – как я могу оставить ребенка в этом мире? Что будет с ним?”

Она ищет аргументы против рождения ребенка и находит их: “И дети – как можно рожать детей, если мы отвечаем перед ними за тот мир, в котором они окажутся? Нам будет стыдно смотреть им в глаза. Нужно сначала переделать этот мир. Фриц, любимый мой, я хочу ребенка, но я не могу себе это позволить. Я должна отказаться, принести его в жертву чему-то несравнимо более важному”.

Сложным для влюбленных оказывается и вопрос “физической любви”. Она откровенно пишет ему о своем страхе перед “плотским”. “Милый мой, я люблю тебя, но не могу показать тебе свои чувства, меня что-то останавливает каждый раз. Хочу тебя приласкать, но не могу переступить через какое-то сопротивление в себе. Очень прошу тебя, не торопи меня!”

В письмах Брупбахер выражает свои чувства сдержанно, но в архиве в Амстердаме сохранился его дневник, которому он поверял самые интимные мысли. Запись от 30 июня 1901 года: “Это сумасшествие. Я больше не могу жить без нее. Лидия – мое будущее, моя жизнь. Без нее все мое существование – ничтожно. Я жил и не знал, что такое любовь. У нас очень большие проблемы с близостью, но я готов терпеть сколько угодно, чтобы помочь ей. Она мучается. Она не может преодолеть в себе какое-то отторжение, неприятие телесного, она ненавидит «человеческое мясо». Она намекнула мне, что в ее жизни произошло что-то страшное, не знаю, в детстве или в ранней юности, связанное с мужской грубостью. Сегодня она сказала, что ей трудно преодолеть эту животность в человеке, но она постарается сделать это ради меня. Я и хочу этого, но и боюсь, что я окажусь для нее этим самым животным. Но именно этого я не хочу!”

Вопрос физической близости обсуждается месяцами, но решение его все откладывается. Снова и снова она пишет: “Это инстинкты. А животное в себе нужно подавлять, потому что мы люди, а не животные. Но я люблю тебя, и вижу, как тебе мучительно. И это обязательно произойдет, только дай мне время, любимый!”

Пора сделать окончательный выбор, остается она с ним или уезжает в Россию для исполнения своей мечты. Лидия колеблется: “Сердце мое! Чувствую любовь к тебе каждой клеточкой моего тела! Такая иногда нахлынет волна нежности к тебе, что, кажется, брошу все, что было мне важно, и просто стану твоей женой, буду рожать тебе детей, ухаживать за домом, следить, чтобы твои сорочки были чистыми и глаженными! А потом вдруг как ушатом холодной воды – так ведь ты же первым меня сразу же и разлюбишь, потому что это буду уже не я! И ты меня любишь только потому, что я такая, какая есть”.

Окончательное решение было отложено до их свадебного путешествия. Фриц Брупбахер и Лидия Кочеткова заключили все-таки официальный брак в мэрии города Цюриха. В

июле 1902 года они отправились в Италию. Из Милана их путь лежал в Венецию. Брупбахеру казалось, что сама атмосфера города влюбленных поможет им.

За день до их приезда, 14 июля, обрушилась кампанила Святого Марка, знаменитая башня на piazzа Сан Марко, символ Венеции. В дневнике Брупбахер записывает: “Воспринимать это как знак? Плохое предзнаменование для нашей семейной жизни? Для наступившего столетия? Пожалуй, не с календарной даты, а именно с этой катастрофы и начался настоящий XX век. И как удивительно, что никто не пострадал. Может, и это знак? Так хочется, чтобы этот век вошел в историю самым счастливым веком человечества!”

К той поездке они не один раз еще будут возвращаться в своих письмах.

Среди прочих рукописей Брупбахера в амстердамском архиве хранится и манускрипт начатого, но незаконченного романа. 25 страниц. Заглавие ненаписанной книги – “Кампанила Святого Марка”. Главные герои, молодые влюбленные, приезжают в Венецию, город, который должен стать их раем, но они оказываются в аду своих запутанных отношений.

В дневнике Брупбахера за те дни появляются отчаянные записи: “Какие ужасные слова – жена, муж. Новобрачные. Неужели это мы? Здесь мы будто играем в какой-то дурной пьесе. Венеция! Сюда принято приезжать молодоженам и восторгаться этими изысканными декорациями. Вдруг опротивело все, и больше всего все эти ряженые гондольеры! Это место придумано для того, чтобы приезжие делали вид, что они счастливы именно от того, что приехали сюда. А туземцы продают им это счастье. Отвратительно!”

На следующее утро он записывает: “Ужасная ночь. Лидия невыносима. Я невыносим. Во всем клянусь себя. Мы в раю, но чувствуем себя из него изгнанными. Она сказала, что на завтрак не пойдет. Сижу один на террасе с видом на лагуну. Воробьи норовят стянуть что-то со стола, нужно все время отмахиваться. На набережной мертвый голубь – чайка клюет его внутренности. Почему я ждал от Венеции счастья? С каждым днем я люблю Лидию еще сильнее”.

Результатом той поездки стало решение, что каждый будет вести борьбу за светлое будущее своего народа в своей стране и, по возможности, они будут встречаться каждый год.

В Петербурге Лидия сдала государственный экзамен, который давал ей право практиковать на территории Российской империи, и получила назначение в качестве земского врача в Смоленскую губернию, в деревню Крапивня в 45 верстах от железной дороги. Ее мечта о служении народу, наконец, претворялась в жизнь.

Реальность сразу подействовала отрезвляюще.

“Сорок убогих дворов, монопольная торговля водкой, церковь и два пьяных до смерти мужика в сугробе. Больше здесь ничего нет. Врача видят только если нужно сделать вскрытие или на освидетельствовании рекрутов. Лечатся сами. Дикость, никаких представлений о гигиене, не говоря уже о порядке и чистоте. Все кишит паразитами, всюду блохи, вши, тараканы. Невозможно назначить ни клизмы детям, ни промывание женщинам, потому что у крестьян нет ни денег, ни желания купить резиновый шланг. Да это и не продается ни в бакалейной лавке, ни в государственном магазине, где только монопольная водка, а других магазинов тут вообще на сто верст кругом нет. Употребление ножа и вилки тут неизвестно, и едят здесь вообще без тарелок – все хлебают из одного горшка сразу, и матери дают детям из своего рта прожеванную пищу. Неудивительно, что борьба с инфекциями в такой обстановке превращается в несмешную комедию. Всюду сифилис, кондиломы у взрослых и детей, у мужчин и у женщин. Трахома распространена колоссально, все друг друга заражают, остановить это невозможно. Можешь себе представить, какой беспомощной я себя чувствую. Вчера пришел крестьянин с сыном, ребенок отрубил себе топором палец. Вместо того чтобы держать рану в чистоте, отец замотал обрубок пальца паутиной с печных углов. Теперь боюсь, что у мальчика будет заражение крови”.

Современного читателя в этих письмах удивляет, пожалуй, лишь работа почты того времени. Письма из Петербурга в Цюрих доходили всего за три дня, а из Крапивни – меньше чем за неделю.

Цюрихская студентка, мечтавшая о служении народу, впервые с этим народом столкнулась, и письма ее проникнуты разочарованием. Больше всего ее неприятно поражает грубость нравов и жестокость русской жизни.

“Ты восторгаешься мною и моей работой, потому что ты так далеко и не представляешь себе все, что вокруг меня и с чем я сталкиваюсь каждый день! – пишет она Брупбахеру весной 1903 года. – Этих людей еще не коснулась ни цивилизация, ни христианство. С какой звериной злобой они пьяные дерутся! Как избивают своих жен и детей!”

В минуты слабости Лидия пишет: “Вспоминаю твою зеленую лампу, твои глаза, бороду, твои книги, твою трубку. Вижу, как ты набиваешь ее и выпускаешь дым в потолок. Как нам было бы сейчас хорошо вместе! Корю себя, что злила тебя, когда были вдвоем, вместо того, чтобы быть нежной с тобой”.

Мать в это время живет в Лозанне, присылает Лидии деньги и умоляет вернуться. Об этом не может быть и речи: “Мне трудно, но именно поэтому я останусь здесь. Ей на зло! Уехать, сдать, это признать поражение. Я буду бороться!”

Переписка с любимым Фрицем помогает ей в этой борьбе.

В письмах Брупбахер поддерживает Лидию во всем, но в дневнике он более честен с самим собой и делится своими сомнениями:

“Одно дело теория – другое практика. В теории я, разумеется, поддерживаю равноправие полов, независимость партнеров. Я и сейчас бы подписал тот наш брачный контракт. Но какая пропасть с реальной жизнью! Какая мука жить порознь! Я не выдержу. Пишу ночью. Ночью я никакой не борец, а самый обычный примитивный человек, я хочу семьи, уюта, ребенка – только боюсь это сказать открыто. Потом, после бессонной ночи и короткого забытья перед рассветом, приходит утро. И я беру себя в руки. Я снова готов к борьбе. И моя Лидия помогает мне быть борцом. Из наших писем мы оба черпаем силы для нашей жизни, для нашей борьбы”.

Через несколько дней снова запись о том, что его не перестает мучить: “Днем – практика, больные, я им нужен – потом заседания, выступления, работа в городском совете, с рабочими – я пишу статью – но вечером, но ночью... Такая тоска охватывает! Так хочется прижаться к ней, обнять ее, любить ее!”

И опять борьба с самим собой: “Мы с Лидией обещали друг другу нести вместе все тяготы нашего общего великого дела, пожертвовать нашим маленьким миром ради большого, нашим индивидуальным ради человечества – и я сдержу свое слово”.

Влюбленные страдают от долгой разлуки. В переписке возникает вопрос о верности:

“Мне важно только, любишь ли ты меня, – заявляет Лидия. – Потому что, пока ты меня любишь, мне нужна твоя верность. А если твоя любовь пройдет – тогда я верну тебе твою верность, тогда мне не будет в ней никакой необходимости”.

Они все время пишут о том, как ждут встречи, и наконец в июне 1903-го, после года работы в Смоленской глубинке, Лидия приезжает к мужу в Швейцарию. Но в последующих письмах о долгожданной встрече оба вспоминают не в самых восторженных тонах.

По дороге в Цюрих она послала открытку из Москвы: “Ехать к тебе – какое счастье! Быть твоей – самое большое счастье моей жизни!” Но после отъезда из Цюриха осенью, она напишет: “Сердце мое, почему в наших встречах больше боли, чем радости? Я ужасная. Я вдруг – сама не знаю отчего – могу стать грубой, жесткой, даже жестокой, и все это к самым близким людям. Обижу их ни за что, а потом раскаиваюсь и плачу. Прости меня, любимый мой! Прости!”

В дневнике Брупбахер в августе 1903 года записывает: “Как странно: любить человека издали – одно, а любить человека живого, рядом с тобой – совсем другое. Кажется, что в письмах мы очень близки, а при встрече отдаляемся друг от друга. Как так может быть? Не понимаю. От этого очень больно. В письмах нам лучше, чем в реальной жизни. Может, поэтому она не выдержала в Цюрихе и уехала в Марбах на курорт? Может, здоровье – это был только предлог? У меня складывается впечатление, что на самом деле мы оба боимся наших встреч. Мы спасаемся письмами, наша переписка – это попытка убежать от нашей невозможности жить ни вместе, ни порознь”.

Осенью Лидия возвращается в Россию, на этот раз она устраивается земским врачом в селе Александрово, в 12 верстах от городка Судогда во Владимирской губернии.

Впечатления от нового места жизни и работы ненадолго разнятся с тем, что было в письмах из Крапивни: “Амбулатория ниже всякой критики – маленькая, грязная, убогая. Я здесь одна на 150 деревень в округе. Ночью спать невозможно из-за полчищ кровожадных насекомых. Зеркало разбила влетевшая в окно курица – так что теперь даже не знаю, как я выгляжу. Может, это и к лучшему. Ко мне относятся с недоверием. Грыжу тут по старинке старая бабка лечит своими укусами, а от всех других болезней лечатся водкой – заливают и раны, и язвы, и в глаза при трахоме”.

Брупбахер пишет ей о своих трудностях в работе со швейцарскими рабочими, что их сложно заинтересовать социализмом. На это Лидия отвечает: “Все, что ты рассказываешь о ваших рабочих, это просто Эльдorado по сравнению с тем, что происходит здесь. Вообще, образованному человеку идти в народ трудное занятие, а идти в русский народ – требует нескончаемого оптимизма. И особенно трудно после того, как столько лет прожил в Европе”.

С каждым письмом растет ее неуверенность в себе и в правильности сделанного выбора: “Все время задаю себе вопрос: способна ли я вообще к практической медицине? Сiju одна и плачу. Реву как последняя баба. Одно утешение, что пишу тебе об этом! Любимый мой, если бы не ты, я не смогла бы жить!”

В октябре происходит несчастный случай, в котором она винит себя и который сильно повлиял на отношение крестьян к ней. “Я отравила человека. 80-летний старик напился и, поскольку монополия была уже закрыта и водку достать было негде, он выпил склянку с лекарством, которое я ему дала. Атропиновые глазные капли. Завтра будут похороны. Теперь его дети и все в деревне меня ненавидят. Уже приходили и кричали всякие гадости и угрозы у меня под окном. Опять они все напьются, а я опять ночью буду пытаться заснуть и дрожать”.

В другом письме она рассказывает, как к ней пристал пьяный и ей пришлось схватить топор, чтобы защитить себя. “Он вмиг протрезвел. Но теперь мне приходится ложиться спать – из-за ненадежности замка – с топором у кровати”.

Она снова полна душевных колебаний: “Вспоминаю, как в Цюрихе мечтала о великой цели и задаче работать среди народа для народа, приносить себя ему в жертву. Разве об этом я мечтала? Неужели об этих людях писали, что в нашем народе уже в душе живет социализм? Где, где тот русский народ? Я хочу отсюда к нему!”

За полтора года работы во Владимирской губернии Лидия приходит к выводу, что ей не нужно заниматься медициной, а нужно целиком посвятить себя революции.

“Чем больше меня охватывает разочарование в моей теперешней деятельности, тем сильнее во мне растет ненависть. Здесь невозможно строить, созидать – все впустую. Здесь нужно сперва разрушить эту систему, которая не дает людям жить по-человечески. Эти люди живут по-скотски, потому что они не знают другой жизни. Сама жизнь в России их развращает, тут нужны для выживания самые подлые качества. Мы же это изучали! Естественный отбор. Здесь выживают только самые бездарные и подлые, тупицы и хамы. Нужно сделать что-то с самой жизнью, с мироустройством, нужно уничтожить всю эту подлую систему! С

каждым днем я все сильнее чувствую, как во мне растет ненависть к этому несправедливому миру. Я знаю, чему теперь отдать мою жизнь!”

Лидия Кочеткова принимает решение стать профессиональной революционеркой.

“Сердце мое! – пишет она в конце 1904 года. – Я снова полна сил и уверенности в себе и в моем будущем. Все колебания и депрессии остались в прошлом. Я часто вспоминала нашу Венецию и столько раз задавалась вопросом, правильно ли я тогда поступила. И теперь я счастлива, что тогда сделала правильный выбор. И я знаю, любимый мой, что ты поддержишь меня!”

С началом Японской войны в стране начинается брожение, и Лидия решает, что она должна быть среди тех, кто поведет русский народ на борьбу с царизмом. Она едет в Швейцарию, где находятся штаб-квартиры всех радикальных партий, и по дороге из Петербурга шлет радостное письмо Брупбахеру: “В воздухе чувствуется революция, которую так ждали! Мы, вся русская интеллигенция, верим и надеемся, что японцы русских основательно вздуют. Поражение подорвет у народа доверие к правительству. Кругом чувствуется всеобщее недовольство и слабость правительства. Великую историю переживаешь только раз в жизни. Прекрасные революции приходят лишь раз в сто лет. Какое счастье дожить до нее, готовить ее, участвовать в ней! Да здравствует революция!”

Самая близкая ей партия – социалисты-революционеры. При этом почти весь 1905 год она проводит в Женеве, где снимает комнату в том же доме, в которой находилась штаб-квартира эсеров. Лидия знакомится с ведущими деятелями партии и с нетерпением ждет, когда с важным поручением отправится на родину. Она вращается в кругу знаменитых революционеров, дружит с Брешко-Брешковской, Верой Фигнер, знакомится также с Бурцевым, будущим разоблачителем Азефа. Она в восторге от него и не подозревает еще о той роли, которую этот человек сыграет в ее судьбе.

Ей тридцать три года. Она счастлива, что наконец обрела смысл своей жизни. Письма ее в Цюрих полны радости от предстоящей работы и уныния, что ее все никак не посылают в Россию.

Наконец, когда революция уже идет на спад, она отправляется в Саратов с поручением восстановить разгромленную партийную организацию, обеспечить распространение агитационной литературы и подготовку экспроприаций и крестьянских восстаний. Программная установка партии – немедленные восстания на местах, которые должны перерасти во всеобщую революцию. Три года, с 1906-го по 1908-й, Лидия Кочеткова является представителем партии в Саратовской губернии.

Сперва письма с берегов Волги исполнены оптимизма. Принадлежность к партии окрылила ее: “Так важно чувствовать себя частью чего-то большого, важного, нужного. Я испытываю счастье, которого никогда в жизни не испытывала. Если нужно отдать за это жизнь – то это совсем небольшая плата за возможность испытать то, что я сейчас чувствую в моей душе”.

Возможность избавиться от своего я, отречься от него, раствориться в великом общем деле придают ее существованию смысл. Ей кажется, она нашла то, к чему стремилась все эти годы: “Семья – это мои товарищи. Всюду, где бы ты ни находился, ты часть большой великой семьи – партии! Наверно, в этом чувстве сопричастности, родства, я, наконец, обрела то, что всю жизнь искала”.

И она, вслед за Брупбахером, сравнивает это переживание с религиозным экстазом: “Да, мы похожи на христиан первого века – та же святая вера в близкое счастливое спасение мира, та же готовность к жертве, тот же отказ от личного, от мещанского, от вещей, от детей, от всего, что отвлекает от великой идеи. С той разницей, что религия – ложь, а революция – истина!”

В письме от 2 мая 1906 года Лидия описывает, как с товарищами они ездили по Волге на лодках на “маевку”, которую устроили на острове: “Возвращались ночью, светила огромная луна, и, сердце мое, я вдруг вспомнила нашу Венецию и ту нашу луну! И такая щемящая грусть нахлынула к горлу. Я расплакалась. Товарищи стали надо мной смеяться, и мы принялись петь революционные песни. Такая волна счастья накрыла меня с головой! Любимый мой! Мы так далеко друг от друга! И так близки!”

В конце мая она сообщает с восторгом о совершении покушения на начальника саратовской тюрьмы Шаталова. Но уже следующее письмо выходит задумчивым. Покушение, совершенное семнадцатилетним учеником слесаря железнодорожных мастерских, где товарищи Лидии распространяли прокламации, вышло неудачным: “Шаталов поправился и пошел на повышение – его взял к себе Столыпин, у тюрьмы теперь новый начальник, мальчика повесили. И вот меня не отпускает мысль: для этого ли тот ребенок родился и прожил свои 17 лет? Он, безусловно, герой, и о нем передовая Россия никогда не забудет, ему когда-нибудь поставят памятник, но страшно подумать о его последних минутах перед виселицей. Вдруг он раскаялся в том, что совершил? Как страшно ему тогда было умирать...”

Уже в следующем письме Лидия отбрасывает сомнения, ее мучают угрызения совести, что она “распустила нюни”, что ее вера поколебалась. Она снова бросается с головой в революционную работу. По заданию партии она летом 1906 года отправляется вести революционную пропаганду в Аткарском уезде Саратовской губернии. Ей удается наладить издание и распространение листовок, а потом она начинает заниматься и доставкой оружия, и организацией “эксвов”.

1 октября 1906 года Лидия в эйфории сообщает в Цюрих из Аткарска о разгромах помещичьих усадеб: “Экспроприации по всей губернии! Наш народ самый чудесный на свете! Его душа – чистый анархист в самом кропоткинском смысле этого слова! Абсолютное игнорирование закона, полное отсутствие самого понимания законности. Экспроприации происходят с той естественностью, с которой это могут делать только люди, у которых в голове нет никакого сдерживающего представления о собственности, о своем и чужом, а есть только коммунистические инстинкты”.

Но очень скоро в письмах все сильнее начинают звучать ноты разочарования. Она ждет начало всеобщей революции с минуты на минуту, ее задача – организовывать боевые крестьянские дружины и поднимать восстания, но революционная волна не только не поднимается, но и наоборот, идет на убыль. Столыпин жесткими мерами успокаивает страну и готовит свои реформы. Среди революционеров, благодаря работе провокаторов, происходят массовые аресты.

“Снег уже сошел, – пишет Лидия Брупбахеру в марте 1907 года, – а вместо восстаний – сеют. И в этом году, чует мое сердце, не будет никакой революции! Наша программа – призывать к непосредственным восстаниям на местах – это одно. А крестьянская жизнь, похоже, совсем другое. Как только начинается сев или уборка урожая, весь революционный пыл у крестьян исчезает, все, от мала до велика, в полях. Их главная забота – обеспечить свое ежедневное выживание сегодня, а не социалистическая республика завтра”.

Она задумывается о русских женщинах, о простых крестьянках, которых нужно поднять на борьбу с царским режимом: “Я сравниваю себя с этими бабами. Им некогда думать о спасении человечества, им некогда заботиться о счастье народа, им нужно спасти свою семью, детей, думать о том, чем их прокормить. Моя главная забота – вложить всю мою душу в работу по их освобождению, и закрадывается мысль: а вдруг моя душа вовсе им не нужна? Какие грустные мысли приходят среди бессонных ночей”.

В одном из последующих писем говорится о том, что крестьяне смешивают экспроприацию с грабежом. “Все растаскивается по домам, а в усадьбах оставляют следы варваров. Я была в одной такой усадьбе – все разграблено, портретам проколоты глаза, повсюду,

во всех мыслимых и немыслимых местах кучи кала. Господи, откуда в моем народе столько кала?! У меня совсем другое представление о нашей революции”.

Ее все сильнее отвращает брутальность, с которой происходят революционные акции. Она рассказывает в октябре того же года: “Вырезали всю помещичью семью – двух детей, мальчика и девочку. Не пожалели и доктора, который с ними в этот момент находился, и бонну – француженку, но, кажется, кстати, приехавшую из Швейцарии. Убеждаю себя, что так нужно, что без крови и насилия великих революций не бывает. Но именно все дело в том, что я должна себя в этом убеждать... Мне сейчас так тяжело, любимый мой! Такая в людях ненависть! А теперь прибыла из Саратова расстрельная команда, и расстреляли мужиков из ближайшей деревни, не особенно разбираясь, кто виноват, а кто нет. И всеобщая ненависть только растет. И снова мне приходится убеждать себя, что мы переживаем прекрасную великую эпоху и что это насилие – последнее насилие”.

В ее письмах все сильнее чувствуется разочарование в “эксах”: “Если это насилие зальет всю страну, трудно будет его остановить. Для этого потребуется еще большее насилие. Как страшно”.

За три года своего пребывания в Саратовской губернии Лидия Кочеткова несколько раз ездила в Европу. В 1908 году, например, под псевдонимом Волгина она участвовала с решающим голосом от Саратовской организации в партийной конференции в Лондоне, выступала там с докладом. Каждый раз она приезжала в Швейцарию и встречалась с мужем, но встречи их становились все короче.

В дневнике Брупбахера за 1908 год читаем о визите Лидии в Цюрих: “Мы расходимся все дальше и дальше друг от друга. Я снова сказал ей, что хочу, наконец, соединиться с ней, готов поехать работать в Россию, учу для этого русский язык. Ведь отправился Эрисман за своей Надеждой Суловой в Москву, основал там свою клинику. Не я первый, не я последний. Мы снова говорили о ребенке. Тот брак, который мы ведем с ней, больше не может так продолжаться. Ее ответ: «Семейное счастье – не для революционеров”.

Разоблачение Азефа не только нанесло удар по всей партии эсеров, но и подорвало, казалось бы, несокрушимую веру Лидии в дело революции. Партийная жизнь практически остановилась. Бывшие товарищи начали подозревать друг друга в провокации. Работа в таких обстоятельствах для Лидии сделалась невозможной и бессмысленной.

“Нельзя что-то делать, если не веришь в успех того, что ты делаешь, – пишет она в январе 1909 года из Аткарска в Цюрих. – Партия разваливается. Партийная работа заглохла. Партия поражена в самое сердце – во всем все видят только провокацию, никто никому не верит. Что я делаю здесь? Вопрос, на который никто не может дать мне ответа. В Аткарске нет интеллигентных людей, только мещане, а это лишь четвертинки людей. Пролетариат только в больших городах. А здесь – тьма, тоска, убожество, пьянство, черносотенство, грязь – одним словом, русская провинция, которую, кажется, нужно или взорвать, или бежать отсюда. Жить здесь нельзя. Я чувствую себя старой, выгляжу ужасно, седина в волосах, морщины. Жизнь проходит. За три года ежедневного труда я не приблизила мою мечту о великом будущем моей страны и моего народа ни на йоту, как ни старалась. Среди товарищей – постоянная грызня, взаимные подозрения и ненависть. Своих ненавидят еще больше, чем чужих. Приходится выступать мировым судьей в бесконечных партийных судах. И сама с ужасом замечаю в себе, что моя любовь к той семье, которую, как я верила, наконец, обрела, куда-то исчезает. Неужели эти озлобленные бесполезные люди – моя семья?”

Лидия разочарована не только в товарищах по партии, но и в крестьянах: “И все это только для того, чтобы понять: никакая революция им не нужна – а нужна зажиточная жизнь, тупая, но сытая. А чтобы раскатать их на революцию, нужны не пьяные грабежи, а война – и не японская, а настоящая, большая, чтобы государство содрогнулось до самых своих основ, чтобы горе и ненависть пришли в каждый дом, чтобы каждый мужик получил в руки вин-

товку – тогда только революция сможет взорвать Россию. Но будет ли это той революцией, о которой мы мечтали, которую готовили, ради которой жертвовали собой и всеми кругом?”

Лидию начинают мучить тяжелые депрессии.

“Я все еще сижу тут и чего-то жду, а нужно давно бежать из этого ненавистного городка, где ничего не происходит и никогда не произойдет. Я тут как оставленный Фирс из чеховского «Вишневого сада» – все уехали, а меня забыли”.

Она попыталась снова заняться врачебной практикой, но не смогла: “Никаких медицинских справочных пособий у меня тут нет, а опыта практической работы недостаточно. Ни революционер из меня не получился, ни врач. Кажется, я опять у разбитого корыта”.

В начале 1909 года она снова уезжает в Швейцарию в глубоком душевном кризисе. “Может, дело вовсе не в счастье народа и не в революции, может, просто я хотела в этой единственной данной мне жизни быть счастливой и собиралась принести себя в жертву ради моего личного счастья? И тогда о какой «жертве» здесь может идти речь? Иногда кажется, я совсем запуталась в себе, в моей жизни – во всем. Фриц, любимый мой, мне плохо. Очень плохо. Психически, разумеется. Тело свое я для себя уже давно упразднила”.

Лидия Кочеткова отправилась в последний раз в Швейцарию на лечение и остановилась снова в санатории Марбах на Боденском озере. Но ненадолго. Побег от самой себя становится ее способом жить. Брупбахеру она не смогла объяснить цель своей новой поездки в Россию. Но, похоже, что и себе тоже. “Мне кажется, – записал Брупбахер после посещения жены в санатории, – Лидия никак не может оправиться после всего, что с ней случилось за последние годы. Выглядит она ужасно”.

Так или иначе, 1 июля 1909 года Лидия Петровна Кочеткова пересекла границу Российской империи и была сразу же арестована.

После непродолжительного тюремного заключения ее сослали в административном порядке на три года в Архангельскую губернию, сначала в селение Устьвашка. В первых письмах из ссылки сквозь строчки еще сквозит гордость, ведь традиционно пройти через арест, каторгу или ссылку – в интеллигентной России служило своего рода причащением. Но очень скоро ее тон меняется.

“У меня теперь много времени задуматься о прожитой жизни, – пишет она в сентябре 1909 года из Устьвашки. – Здесь все то же, что и везде в России, – грязь, дикость, пьянство, насилие. Вот сосед зарезал жену ножом – здесь в каждой деревне каждый год кого-то убивают. Мы боготворили народ – а он оборотень. За что его любить? И между ссылными – склоки, вражда, ненависть. У меня больше нет никакой веры ни во что, а тем более в революцию. Наоборот, охватывает страх, вдруг революция действительно придет? Мы заварили кашу, а расхлебывать предстоит детям и внукам. Иногда думаю – все-таки хорошо, что у меня нет ребенка. Ты видишь, я не в очень веселом настроении. Кроме писем тебе, мне не за что больше зацепиться. Я тону”.

Зимой Лидию переводят в Пинегу, там она заболевает тифом, и Брупбахер, сломя голову, бросается к ней в далекую ссылку. Он едет через Москву и Петербург до Архангельска, а оттуда еще шесть дней на санях.

И снова, в который раз, личная встреча не приносит им счастья. После его отъезда Лидия написала: “Почему мы любим друг друга сильнее, когда мы разлучены? Ты это знаешь?”

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.